

ЗАБАСТОВКА В «СИТЦЕВОМ КРАЕ» 12 МАЯ -23 ИЮЛЯ 1905 ГОД.

ОТРЫВКИ ИЗ КНИГИ Вл. Архангельский «Фрунзе» (М. «Молодая гвардия» 1970 г «ЖЗЛ» Стр. 72-90)

...Трифоныч уступил в этот раз. Записали все, что уже предъявили ткачи фабриканта Бакулина, рабочие типографии Соколова и собирались выставить 10 мая ткачи Дербенева.

— Кстати, дербеневские сынки были вчера в большом загуле: пропили с дружками в трактире и продули на бильярде не одну сотню рублей. Вот тебе и живая агитация! А наши дети ползают в пыли при дороге, а жены не знают, чем затыкать дыры в хозяйстве!

— Хорошо, Евлампий Александрович, вам виднее. Но и своего я не упущу, — сказал Трифоныч, старательно записывая требования ивановских рабочих.

Прежде всего: рабочий день — восемь часов, а перед праздниками — шесть. Затем отмена ночных и сверхурочных работ, и заработок — не ниже двадцати рублей в месяц. Потом — полная оплата за время болезни, отпуска роженицам с сохранением полного заработка, ясли для детей и пенсия потевшим трудоспособность. Наконец, улучшение жилищных условий и медицинской помощи.

— Вот это главное! Народ добавит, если мы пропустим чего. Но еще надо обращение написать к рабочим, чтоб до сердца дошло!

«Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» — начал писать Трифоныч.

— В точку! — сказал Дунаев. — А теперь пиши по-рабочему: «Нигде не видно просвета в нашей собачьей жизни. Довольно! Час пробил! Не на кого нам надеяться, кроме как на самих себя. Пора приняться добывать себе лучшую жизнь!..»

9 мая на партийной конференции единогласно утвердили требования с острой запиской Евлампия Дунаева. И Фрунзе впервые выступил от лица комитета с речью.

— Революция шагает по стране, товарищи! Царь показал девятого января, что ничего нам не уступит без боя. Его и фабрикантов просьбами и слезой не прошибешь. Мало бросить работу и предъявить требования. С этого только начнем бой с капиталом, но не остановимся на полпути: Ленин призывает нас готовиться к вооруженной борьбе. У нас пока мало вот таких товарищей, — он показал на дружинников Ивана Уткина, которые окружили тайное собрание большевиков, в черных ластиковых рубашках с широкими кожаными поясами. — Мы создадим новые отряды и найдем для них пистолеты и винтовки. Без этого не обойтись, товарищи! Сейчас власти тайно вербуют против нас «черную сотню» из лавочников, дворников, кулаков и уголовных преступников. А против этой чертовой «сотни» с голыми руками не погрешь. И полиция, жандармы и казаки не сдадутся нам по доброму уговору. Признают они только силу оружия. Ми ответим им пролетарской сплоченностью. А уж коль дело дойдет до открытого боя, охулки на руку не положим. С волками жить — по-волчьи выть! И хорошо стреляет тот, кто стреляет последним!

И закончил Фрунзе свою речь под одобрительный гул собрания:

— Я тут всего три дня, а хорошо вижу, что умеете вы читать, писать и считать по законам революции. Читаете запрещенную литературу, пишете требования, зовущие в бой. Считаете — какой барыш от вас кладут в карман хозяева. Теперь пройдем рабочий «университет» на сходках, и каждый из вас понесет слово нашей правды ко всем рабочим города и округи!

— С почином, Трифоныч, хорошо сказал! — Семен Балашов крепко пожал ему руку.

Забастовка в «Ситцевом крае» началась 12 мая 1905 года и продолжалась семьдесят два дня. Такого еще не знало рабочее движение России!

В те годы очень любили исторические параллели, и ивановские большевики гордились, что они смогли продержаться на один день больше Парижской коммуны.

Двенадцатого Дунаев вышел по гудку в утреннюю смену на фабрику Бакулина, где работал ткачом. По дороге он прихватил Семена Балашова с Трифонычем и, в шумной сутолоке у входных ворот, провел их в цехи.

Народ уже мельтешил возле машин, негромко переговариваясь о наболевшем. Не скажет ли чего дирекция ныне, ей требования вручили еще пять дней назад? И какого лешего тянет?

Очень многие не оставляли надежды на мир между хозяевами и рабочими. Ведь куда добр и наивен русский человек! Как и в дни «гапоновщины»: терпел он и не терял веру в доброго царя, пока не попал под его пули. Так и нынче: все еще теплил надежду, словно лампаду жег перед киотом, чтоб заслужить

любовь всевышнего.

Но таких простачков осаживали люди трезвые, уже утратившие беспочвенные иллюзии.

Между тем первая смена встала к станкам. Заурчали трансмиссии, вздрогнули, пошли в ход машины. Пулей замелькали челноки, побежали поровну и вверх нити основы.

А в трех больших пролетах, перекрывая шум машин, в голос закричали Дунаев, Балашов и Фрунзе:

— Кон-чай ра-бо-ту!

— Па ули-цу, това-ри-щи!

— Митинг на площади!..

Осекшись, встали и замолкли машины. Налегая друг на друга, люди кинулись в широкий проем двери: «Миром! — С богом! — С товарищами! — Навалом!»

Лавиной вынеслись во двор, сбили с ног перепуганных охранников у ворот. И, строясь рядами, зашагали по булыжнику к городской площади.

Комитетчики не смогли одновременно остановить работу на всех предприятиях. И первыми вышли на митинг рабочие четырех фабрик: Бакулина, Маракушева, Никиты Дербенева и Бурылипа. Но вскоре забастовка полыхнула, как пожар, по всему городу, и площадь едва вместила людское море.

Полицейстер Кожеловский оторопел. Но быстро сообразил, что надо требовать подмогу. И пока не включились в стачку телефонисты, передал владимирскому губернатору Леонтьеву, что у него под окнами великое сборище — тысяч сорок! — и он не может его побороть. Губернатор приказал немедленно собираться в путь.

А на площади уже огородили трибуну из старых ящиков, и Бешеный ткач с глазами-молнией, сбросив картуз, звонкоголосо стал читать требования рабочих к фабрикантам. Федор Афанасьев стоял рядом, светясь лицом, как в самый большой праздник.

В задних рядах люди напряженно тянули шею, чтобы не проронить слово оратора, и цыкали па ребятишек, которые ошалели от радости: они шныряли в толпе, передавая друг другу новости, или громко перекликались, сидя па деревьях.

А людское море грохотало.

— Восемь часов!.. — разлетался над головами голос Евлампия Дунаева.

— Правильно! — отвечали тысячи.

— Штрафы долой!..

— Долой!

— Отмена ночных работ!..

— Верно!

— Зарботки повысить!..

— Точно!..

Словно клятву давали рабочие. А народ подваливал и подваливал: после полудня замерла вся фабричная жизнь в городе.

Говорил Федор Афанасьев, почти не скрывая слез радости. Вспомнил он о первой маевке и жестоком уроке в день Кровавого воскресенья. Вспомнил, как за последние тринадцать лет — не по своей воле — почти каждый год навещал царские тюрьмы.

— Но не оскудела моя вера в долгожданную победу рабочего класса. Сколько раз подбивал я людей на стачку, и они дружно выступали против хозяев. И с вами восемь лет назад держались мы три недели, пока не отбили у фабрикантов полтора часа. Помните ли, с какой радостью перешли тогда с тринадцати часов на одиннадцать с половиной?

— Помним, Отец, помним! — согласно ответили люди.

— А вот такой мощи мы тогда не показывали. Нынче светлый день нашей борьбы, и он принесет нам заветные восемь часов. Только брать свое придется силой: зажирело у хозяев сердце. И не скинут они нам три часа без боя. Но нет среди нас трусов: бой так бой! А коль придется — и жизнь отдадим. Но стоя, с гордой головой. И это лучше, друзья, чем жить на коленях!..

К Федору Афанасьевичу протискивались в толпе старые его товарищи по стачке девяносто седьмого года, трясли ему руку, говорили сердечно:

— Верим тебе, Отец! Веди! Добьемся! А на трибуне уже стоял Трифонов, комкая картуз в правой руке. И пересохло у него в горле, и непривычно дрожали колени: ведь полтора-два тысяч глаз с надеждой глядели ему в лицо. Он опасался, что сорвется голос от волнения. И даже сам удивился, до чего же четко и смело зазвучали его слова на этом первом грандиозном митинге.

— Товарищи! Отец верно сказал: на нас работает время. Утром вышли из цехов тридцать тысяч, сейчас нас — семьдесят пять. Кому же по плечу свалить такую силу? Никому! Но не будем обольщать-

ся: мы сильны единством, пролетарской сплоченностью. Не давайте дробить наши усилия, не^{Стр.3} опускайтесь до мелких сделок с хозяевами: один за всех, и все за одного! Выстоим сообща, и вся пролетарская Россия устремится за нами! И да здравствует Всероссийская стачка!..

Его проводили одобрительным гулом — в те годы на рабочих собраниях не знали аплодисментов. Он был самым молодым среди ораторов и говорил с юношеским задором. Но в речи его не было пустых слов, а открытое, смелое лицо так зримо подчеркивало его искренность.

Митинг в тот день длился до вечера, и многие опьянели от речей. Это понял Михаил Лакин — озорной, красивый парень с кустистыми соболиными бровями. Он успел сбегать домой, чтобы переодеться, и вышел к трибуне как артист: в хорошей синей паре и белой рубашке с черной шелковой бабочкой. Сотни стихов держал он в голове и начал читать Некрасова.

Очень к месту были эти стихи: они падали на благодатную почву. И иногда у слушателей набегали на глазах слезы. А он поддавал и поддавал, словно великий поэт передал ему эстафету.

Над притихшей толпой летели из края в край стихи о печальной жизни многострадальной русской крестьянки.

Потом Лакин читал «Колыбельную песню» — о будущем чиновнике:

Тих и кроток, как овечка,
И крепонек лбом, До хорошего местечка
Доползешь ужом — И охулки не положишь
На руку свою. Спи, куда красть не можешь!
Баюшки-баю.

И били в цель строки о страшном барине, который так напоминал лиходеев фабрикантов:

И только тот один, кто всех собой давил, Свободно и дышал, и действовал, и жил.

Лакин мог бы читать и до ночи. Но со стороны вокзала подкатила к площади коляска, а в ней — владимирский губернатор Леонтьев.

По живому коридору, едва не задевая людей крыльями коляски, проследовал тщедушный старичок в белом мундире, прикрытом серой накидкой от пыли, в картузе с генеральским околышем. Он опирался на трость с набалдашником, зажав ее между колен, и с недоумением поглядывал по сторонам, словно ожидая подвоха.

Люди угрюмо молчали, и никто не собирался огреть его булыжником по генеральскому картузу. Но у многих закралась мысль: «Не к добру явился в Иваново этот властный старик!»

Полицмейстер проводил губернатора в канцелярию, вскоре показался на балконе и крикнул начальственно:

— Господа! Их превосходительство приказывают вам немедленно очистить площадь и завтра всем возвратиться к работе. Для переговоров с начальником губернии соблаговолите выбрать депутацию.

Недобрый гул прокатился по площади. Евлампий Дунаев, не желая заводить препирательства с Кожеловским, сказал громко, чтоб слышали все:

— Губернатор устал с дороги — дадим ему отдохнуть. Да и нам пора по домам. Только, товарищи, у нас свой порядок: работу бросили и к машинам не вернемся, пока не сдадутся хозяева! Что скажем начальнику губернии — наше дело. И на то есть новый день. И говорить будем без свидетелей. Завтра с утра — митинг на Талке, товарищи!

Утром 13 мая городское собрание рабочих было продолжено в широкой зеленой излучине реки Талки, на опушке соснового бора, неподалеку от железной дороги.

Большевики подсказали решение: всей массой не обсуждать каждый вопрос стачки, избрать для этого боевой штаб — Совет уполномоченных, чтоб он сводил воедино все пожелания рабочих и повседневно руководил стачкой. И по вечерам давал бы отчет собранию, какие меры им приняты.

Люди разбились на группы — от каждой фабрики. Да и от каждого городского предприятия, потому что стачка стала всеобщей: в нее включились заводы, типографии Соколова и Ильинского, железнодорожное депо, ремесленные мастерские, землекопы и крупные магазины. А все питейные заведения были прикрыты Советом на другой день. И со стороны Талки необычно выглядел город: умолкли гудки, не дымились фабричные трубы, опустели улицы. А с городских колоколен удивительным казалось пространство в несколько десятин на зеленой лужайке у реки, где живописными группами сидели и стояли тысячи людей, все разодетые как в праздник: яркие сборчатые юбки, цветастые платки — из ситца и драдедама; темные картузы, красные, синие и голубые косоворотки, у многих с белыми горошинами, жилетки, пиджаки. И тот, кто подходил сюда позднее, вдруг попадал в ярмарочную атмосферу криков, споров, возгласов. А над всей излучиной стоял такой гул, словно носились растревоженные пчелы из тысячи ульев.

И ребяташки летали от группы к группе, разнося новости. И сновали по поляне лоточники,^{Стр.4} предлагая крендельки, ландрин, семечки, орехи, сладкие грецкие стручки. И досужие мужички с городских окраин толкали тележки с квасом, разлитым в четверти или «гусыни», укутанные от весеннего жаркого солнца в старое ватное одеяло.

После полудня Совет уполномоченных был избран: 151 человек. Нелегалы Федор Афанасьев и Михаил Фрунзе в него не вошли: они руководили им из подполья. Первым председателем Совета выбрали местного поэта, гравера по профессии — Авенира Ноздрина. Евлампий Дунаев взял на себя политическое просвещение стачечников. И полиция вскоре доносила по своим каналам, что на Талке создан «вольный социологический университет», где интеллигенты изо дня в день читают лекции и проводят беседы. И что «ректором» состоит Бешеный ткач. Только долго не могли узнать полицейские чины, что главным «ректором» в этом народном «университете» признан петербургский политехник Фрунзе, а вдохновляет всю эту учебу Владимир Ленин. Ведь стачечники знали только большевиков: в Иваново-Вознесенске не давали хода соглашательским партиям — эсерам и меньшевикам.

На первом же заседании Совета были окончательно сформулированы требования всех рабочих Иваново-Вознесенска. И к тому, что записали Дунаев и Трифоныч, прибавились требования, рожденные в ходе двух первых митингов: ликвидировать тюрьмы при фабриках и убрать фабричную полицию; не допускать вмешательства властей в дела рабочих во время стачки, не арестовывать забастовщиков в эти дни и не увольнять их с работы.

Как и предполагал Евлампий Дунаев, уже с первых дней появились четкие политические требования: свобода стачек, союзов и собраний. И это уже был шаг к лозунгу о созыве Учредительного собрания.

Одновременно Совет решил ввести «сухой закон» в дни забастовки и создать свою милицию, чтобы в городе не наблюдалось безобразия, хулиганства и грабежей.

Совет уполномоченных вскоре стал реальной властью рабочих в городе: без его разрешения не делалось ни шагу. И когда губернатор Леонтьев переселился на время из Владимира в Иваново-Вознесенск, он на себе ощутил власть Совета. Приказав Кожеловскому отпечатать и расклеить объявление о запрещении сборищ, он получил неожиданный ответ:

— Не имею возможности, ваше превосходительство! Типографии закрыты по решению Совета. А он не разрешит печатать бумагу против себя. Так что придется в другом городе.

— Невероятно! До какой степени вы распустили людей, полицмейстер! Партийцы ходят на свободе, баламутят народ. Но я найду управу: всех вожаков — в кутузку, и чернь встанет на колени!

— Прошу прощения, ваше превосходительство, но взять бунтовщиков нельзя: у них своя милиция, чуть тронем — начнутся эксцессы.

Губернатор ограничился тем, что написал письмо министру внутренних дел:

«12-го сего мая в городе Иваново-Вознесенске забастовали рабочие на всех фабриках. Рабочие держат себя беспокойно, вследствие чего мною сего числа выслан один батальон нижних чинов от квартирующих во Владимире войск...»

Но до 3 июня и этот батальон и астраханские казаки, приданные ему в помощь, не были пущены в дело. Губернатор Леонтьев несколько раз принимал депутатов Совета — Дунаева, Лакина и Самойлова, уговаривал их пойти на уступки, но они не сдавали позиций. Он вернулся во Владимир, вскоре снова приехал в Иваново-Вознесенск. И сейчас же информировал своего министра:

«...Сам я должен напрягать все свои силы для достижения однообразного хода дела, но при всем моем старании достигается мною с большим трудом. Первый раз я просидел в Иванове восемь дней. Ныне уже прошло девять дней моего вторичного здесь пребывания, а пока не предвидится его конец. У меня развиваются признаки сердцебиения и нервного расстройства...»

Конечно, потрясенный до такой степени начальник губернии — лучшее свидетельство реальной силы Совета! Да и как было не расстроиться старому служаке, если единственным способом расправы с рабочими могло быть только открытое объявление гражданской войны всему народу края. Но в стране было так беспокойно, что повторение Кровавого воскресенья исключалось.

А люди не работали у станков, фабриканты соглашались лишь на мелкие уступки. Губернатор пока накладывал укусные повязки от мигрени. И огорчался страшно: «вольный университет» день за днем готовил агитаторов и рассылал их по округе. А в минуты, свободные от занятий, дерзкие молодые парни на Талке распевали открыто:

Нагайка ты, нагайка,
Тобою лишь одной
Романовская шайка

Сильна в стране родной!
 И сотни голосов подхватывали песню:
 Нагайкой не убита
 Живая мысль у нас.
 Уж скоро паразитам
 Придет последний час!

И уже не только всероссийскую, но и мировую гласность получила ивановская стачка. И живое воплощение лозунга: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» — подтверждалось присылкой денежной помощи бастующим из Санкт-Петербурга, Москвы, Ярославля, Иркутска, Риги, Варшавы, Екатеринослава; из Женевы, Гамбурга, Берлина, Бремена, Нью-Йорка.

Отец вел учет каждой копейке из стачечного фонда, понимая, что не смогут до бесконечности держаться люди, у которых давно кончилась последняя «дача» и никаких запасов нет. И может подойти время, когда каждый пятак, выданный голодной семье, будет дороже рубля в праздник. «Я был свидетелем сцены, — вспоминал один из стачечников, — как Отец — казначей комитета выдавал Трифону (Фрунзе) деньги на железнодорожный билет в Шую, куда тот ехал для проведения массовки, требовал с него три копейки сдачи, и когда у Трифона сдачи не оказалось, то Отец не поленился сходить в лавочку, чтобы поменять пятиалтынный, и вручил ровно сорок две копейки...»

Фабриканты отсиживались в городе, неся большие убытки. Некоторые из них намекали, что пойдут на маленькие поблажки, но Совет требовал выполнения всех пунктов наказа.

Эту позицию отразил в письме к родственнику фабрикант Бурылин:

«То, что произошло за три дня, не поддается описанию. Невиданная картина событий, рабочие — как звери. Я лишен кучера, сам кипячу чай, с фабрики последнего сторожа сняли, сам охраняю фабрику. Начальство растерялось. У наших нет единого мнения. Мое честное убеждение — надо поскорей идти на небольшие уступки рабочим требованиям. Нам угрожают колоссальные убытки. Две партии непромытого вареного товара преют в котлах. В красильне — мокрые ролики. Мне известно из недовольных источников, что руководители забастовки — люди приезжие, с образованием. Руководят хлестко. Чувствуется в городе двоевластие. Рабочие не хотят договариваться на своих фабриках, выставляют общие требования».

Городская дума прекратила работу. Совет заседал с утра до ночи, но и ему не хватало опытных агитаторов и деловых руководителей.

Семнадцать лет спустя Михаил Васильевич Фрунзе дал очень верную оценку забастовки и ее исторической роли для рабочего движения России:

«Идейное и организационное влияние Иваново-Вознесенской группы РСДРП было очень велико. Во всем объеме оно сказалось на всеобщей стачке, начавшейся, кажется, 12-го мая. С первых же шагов стачечное движение, охватившее около 60 000 рабочих различных городских предприятий, приняло удивительно стройный и организованный вид. После первого грандиозного митинга перед Думой, приведшего в неопишутый страх как местную буржуазию, так и всю полицию, происходит общее собрание бастующих за городом у речки Талки, где рабочие по предложению социал-демократов разбились на фабрики и создали Совет Рабочих Депутатов.

Я бы очень хотел привлечь внимание к этому обстоятельству. Оно важно по двум причинам: первое — по той естественной необходимости, жизненности и соответствию запросам и интересам трудящихся, представляемых советской формой организации, и второе — по той роли, которую в создании и развитии советской формы организации сыграл иваново-вознесенский пролетариат.

Нет никакого сомнения, что иваново-вознесенская летняя стачка дала богатейший политический и организационный материал, который после и был надлежащим образом использован при создании Петроградского, а затем Московского и других советов. Вот, стало быть, к какому времени относятся еще корни нынешней Советской организации в Иваново-Вознесенске. Работа, проделанная партией в смысле политического воспитания рабочей массы, за время стачки была колоссальна. Надо сказать, общий культурный уровень иваново-вознесенского пролетариата был чрезвычайно низок. Несмотря на колоссальные богатства, скапливающиеся в руках фабрикантов от эксплуатации труда рабочих, город по постановке народного образования занимал во всей России одно из последних мест, ибо буржуазная городская дума не уделяла ему никакого внимания... В результате, партии приходилось иметь дело с массой, совершенно неподготовленной к восприятию социально-политических идей. Я помню, как первое время стачки волнение охватывало аудиторию при попытках ораторов затрагивать чисто политические темы; помню, как испуганно и порою враждебно встречалась массой критика самодержавной царской власти. Но все это было только вначале. Работа организации свое дело дела-

ла. И надо было видеть, как оно делалось! Во всякой кучке рабочих и просто обывателей, обсуж-^{Стр.6}давших злободневные вопросы, обязательно, как из-под земли появлялся доморощенный оратор в лице рядового члена организации и властвовал вниманием и сочувствием слушателей. Во время этой знаменательной стачки, сыгравшей в истории всего рабочего движения России такую крупную роль, во всем блеске выявились основные черты организации РСДРП (большевиков): партийная дисциплина, колоссальная энергия и безграничное самоотвержение».

В своих воспоминаниях 1922 года Фрунзе не сказал о себе ни слова, а ему принадлежала исключительная роль в дни этой знаменитой стачки иваново-вознесенских текстильщиков...

В этих воспоминаниях между строк угадывается и сам Трифоныч — застенчивый и скромный, незаметный для многих, волевой и удивительно ласковый в подходе к любому стачечнику. Сам он о себе никогда не говорил, о своих делах той поры никому не писал. И только по крупицам — из донесений полицейских чинов, из отдельных воспоминаний его боевых товарищей можно составить образ молодого большевика, волею судеб попавшего в ивановское пекло 1905 года.

В нашем теперешнем понимании был он комиссаром Совета, умным, тактичным и очень деятельным членом партии, который поддерживал в товарищах дисциплину и энергию, немыслимую без самоотвержения.

Именно это и подчеркивал в своих воспоминаниях его близкий соратник Федор Самойлов: «Фрунзе стал душой Иваново-Вознесенской партийной организации. Его часто можно было видеть на заседаниях городского партийного центра, на нелегальных собраниях в лесу и с момента стачки, которой он фактически руководил, — на заседаниях Совета и на митингах бастующих рабочих».

Так получилось, что в Иваново-Вознесенске он был наиболее образованным марксистом, раз и навсегда избравшим большевизм своим жизненным кредо. И отчетливо понимал, что победа рабочего движения невозможна без социалистической теории, без ленинского знамени. В гимназии и в институте он привык читать много и быстро, а цепкая память помогала ему усваивать выводы из прочитанного. По-своему он стоял на уровне ленинских идей того времени и хорошо умел передать своими словами самую трудную теоретическую мысль. И его ценили именно за то, что он не подстраивался под лексикон отсталых рабочих, а пытался поднять их до понимания действительно сложных вопросов марксизма.

Конечно, и кроме него были люди образованные, о которых сообщал в письме фабрикант Бурылин. Стойким марксистом был Отец — Федор Афанасьев. И знал он многое из Маркса, Энгельса, Плеханова и Ленина. Но теория не была самой сильной его стороной: он брал рабочего за душу фактами из его же жизни и задушевными разговорами о своем тернистом пути старого большевика, одержимого ненавистью к строю насилия. Хорошо был начитан Евлампий Дунаев — человек практической хватки, прирожденный рабочий агитатор, умевший всякое слово повернуть так, чтобы любой рабочий в его страстной речи видел свои невысказанные желания. Образованными людьми были и Самойлов и Жиделев. Но, кроме Фрунзе, интеллигентом — в широком понимании — был еще лишь Андрей Бубнов, по кличке Химик — беглый студент Московского сельскохозяйственного института.

Однако Трифоныч стоял особняком: мастер теории, но отнюдь не сухарь; человек эрудированный в вопросах истории и экономики и вместе с тем ничем не отгороженный даже от неграмотного рабочего. Потому-то и легли на его плечи обязанности «ректора» в «вольном университете» на берегу реки Талки.

Комитетчикам он читал лекции по теории рабочего движения. И они восхищались, что он на память цитировал большие куски из «Манифеста Коммунистической партии» Маркса и Энгельса и из книги Ленина «Что делать?».

Семен Балашов спросил его однажды:

— Ну как же можно запомнить такое?

— Мысль понравилась и хорошо отложилась в голове. А раз так, то ее нетрудно передать и словами автора. Да и не стоит подпольщику таскать с собой запрещенные книги. Как говорит Отец: лучше их держать не за пазухой, а в голове! Тогда и в любом споре будешь отлично аргументирован.

Разумеется, попадались мысли, сложные для восприятия, и слушатели становились в тупик. Тогда Трифоныч говорил без обиняков:

— Глубокую мысль нельзя постичь без труда. Надо возвращаться к ней и дважды и трижды и связывать ее со своей практикой. Даже великий Маркс приходил к выводам в итоге беспощадной борьбы с собой. Но всякая умная мысль хороша тем, что ее можно понять в конце концов, а будучи понятой, она толкнет на подвиг!

Изредка он выступал с обзором событий в стране на широких собраниях. И любил такие речи:^{Стр.7} живо реагировала на них благодатная аудитория. Но товарищи все глубже и глубже загоняли его в подполье: оберегали своего Трифоныча. И он ограничивался где репликой, где кратким словом на летучке агитаторов, где небольшой беседой с малой группой будущих пропагандистов, а где и разговором наедине с рабочим «оратором», у которого дух захватывало от одной мысли, что ему придется выступить в Совете или на многолюдном митинге.

— Не залезай в дебри, — подбадривал он оробевшего ткача или прядильщика. — Смело говори о том, что наболело: расценки, штраф, фабричная тюрьма. И про «спальню» скажи, и про «дачку», от которой нет радости... А выступать надо: мы люди передовые, нам нужно проявлять себя в общественной деятельности. Она помогает человеку стать смелым, уверенным в правоте своих идеалов!

Тем, кто колебался долго и все отнекивался, Трифоныч составлял «шпаргалку». Но предупреждал дружески:

— Ты не заучивай — я ведь не могу передать твой стиль речи. Сам говори. А моя бумажка пусть будет как вешка на зимней дороге: помни о ней, иди смело и не сбивайся!

И «доморощенный агитатор», испытав счастье на митинге, говорил о Трифоныче с уважением:

— Ну скажи ты, молод до невозможности, ему бы за девками бегать, а он — все для нас и за нас! И так тебе в душу вложит, что страху перед народом нет. Голова!..

23 мая в Иваново-Вознесенске произошли два события. Партийная организация стала выпускать бюллетень о ходе забастовки. Трифоныча сделали редактором, автором и правщиком статей, заметок и предложений стачечников. Он писал по ночам прокламации и призывы, из номера в номер будоража умы бастующих. Полиция сбилась с ног, но ни подпольной типографии, ни редакционного аппарата бюллетеня найти не смогла.

В этот же день стачка отчетливо обнаружила свою политическую окраску. Совет рабочих депутатов провел на городской площади собрание под лозунгом «Работы, хлеба!». Впервые комитетчики выкинули красные флаги и с пением «Марсельезы» и «Варшавянки» направились продолжать митинг к берегам Талки. И эта речка приобрела популярность далеко за пределами города: она стала вровень со славными географическими пунктами земного шара!

Красные знамена стачечников так перепугали фабрикантов, что некоторые из них немедленно покинули город. Трифоныч дал в бюллетене отчет о митинге, о новом проблеске политического сознания масс и призвал их еще активнее разворачивать наступление на капитал.

Одновременно он занялся вооружением дружинников Ивана Уткина. Парни в черных ластиковых рубахах и кожаных поясах почти не имели оружия. На всякий случай они запаслись увесистыми можжевеловыми палками. И пока власти не шли в открытый бой, даже с палками можно было нести охрану Совета, рабочих митингов и даже фабричных ворот, чтобы туда не проникали штрейкбрехеры.

Но губернатор стянул в город войско, и астраханские казаки с желтыми лампасами стали появляться слишком близко от излучины Талки, занятой бастующими.

В майские дни 1905 года постепенно обнаруживается одно из сильнейших призваний Фрунзе: от военного организатора рабочих дружин в Иваново-Вознесенске — к баррикадным боям в Москве, к вооружению народа в Минске, к выдающейся полководческой деятельности в годы гражданской войны.

Давняя детская мечта стать генералом вдруг воплотилась в конкретных делах во время стачки. Трифоныч посылал в Москву ребят Ивана Уткина, и они привозили винтовки в разобранном виде и пистолеты. И учились стрелять в цель и надежно прятать оружие.

Для стрельбища выбрали место в овраге, за лесной дачей фабрикантов Битовых, удравших в столицу. А стрелять старались в те минуты, когда проходил товарный поезд, чтобы его грохот приглушал винтовочный треск.

Сам Трифоныч отлично стрелял из винтовки: сказывалась охотничья сноровка. А из пистолета бил хуже, но вскоре приноровился попадать в «яблочко» с двадцати-тридцати шагов: во всем он хотел быть не хуже других, чтоб наглядно служить примером.

Когда у Станко — Уткина сложилась боевая дружина человек в семьдесят, Фрунзе написал для нее устав. «Боевая дружина формируется прежде всего для того, чтобы служить ядром будущей революционной армии восставшего народа», — сказано было в преамбуле.

— Ну, это ты хватил, Трифоныч! — говорили некоторые дружинники. — Какая ж мы армия? Смех один! А где пулеметы, пушки, генералы? Разве попрешь против войска с такими револьверами? — презрительно поглядывали они на кучку малосильных, устаревших «смит-вессонов».

— Винтовки будут, — спокойно отвечал Трифоныч. — Пулеметы, можно отбить у врага. А до пушек

— далеко, может, дело до них и не дойдет: нам не крепости брать! Генералами будем сами: не^{стр.8} боги горшки обжигают! Но если народ восстанет, у него должно быть обученное ядро, и из него вырастет армия пролетариата. Так что записано все правильно!..

Популярность Трифоныча росла. Полиция за ним охотилась, но никак не могла расшифровать, кто скрывается за этой как бы стариковской кличкой. Городовые и филеры толкались среди стачечников, спрашивали: «Каков же он? С бородой, што ли?» — «Вот именно: бородаща здоровая, рыжая! И сам дюжий — не чета вашему губернатору!»

Трифоныч менял адреса. В каждом доме оберегали его пуще глаза, хозяйки хотели накормить его чем бог послал, постирать белье. И удивлялись до крайности, что этот молодой большевик просиживает ночи над книгами. «Глаза спортишь, ложился бы», — говорили ему. «Завтра беседа. Скажу людям немного, а самому надо готовиться всю ночь». И подкупала его отрешенность от обыденных дел: еду старался не брать, зная, что в семье с харчами плохо, деликатно отказывался от услуг, даже пуговицу пришивал сам.

Ищейки накрывали его дважды, трижды. Но пока все сходило с рук: товарищи всякий раз разыгрывали толковый «спектакль», а паспорт на имя Семена Безрученкова был сделан отлично и действовал безотказно. Однажды нагрянула полиция, когда Трифоныч ночевал у Семена Балашова. Но их не застали врасплох: Станко обходил поселок со своими ребятами и успел стукнуть в окошко перед самым налетом.

Семен и Трифоныч спрятали в самовар только что подготовленный бюллетень Совета. Хозяин повязал щеку платком и уселся читать бульварный роман графа Салиаса, гость скинул сапоги и завалился под одеяло.

Граф не вызвал подозрения у пожилого унтера, да и Балашов отлично разыграл сцену: болят зубы, спасу нет, вот и решил отвлечься от нудной боли!

Трифоныч предъявил паспорт.

— Прибыл надолго? — спросил унтер.

— Да ведь как придется: на работу хотел, а у вас тут черт знает что творится. Неужто порядок нельзя навести?

— Поговори мне - еще! — буркнул унтер. И вышел к стражникам: они переговаривались в сенях.

Ивану Уткину и его ребятам вскоре пришлось показать себя в большом деле. Губернатор Леонтьев, так и не избавившийся от мучительных мигреней на нервной почве, уехал отлеживаться во Владимир. А вице-губернатор Сазонов решил показать когти. 2 июня по его приказанию Кожеловский расклеил приказ, отпечатанный вне Иваново-Вознесенска: рабочим категорически запрещалось собираться на реке Талке. Однако все забастовщики явились на очередное собрание. И чтобы подчеркнуть мирный характер своего митинга, взяли детей, стариков. Да и день выдался чудесный: солнечный, ясный, теплый. Люди спокойно обсуждали дела; где-то заливчато пел баян; дети безмятежно носились по излучине реки.

И вдруг послышался крик дружинника:

— Берегись! Казаки!

Но со стороны города опасности не было. И все подались к лесу, вовсе не ожидая, что именно там встретят их астраханцы, засевшие в бору с ночи.

И началось позорное побоище: пьяная казацкая орда против мирных рабочих. Астраханцы с гиком носились между бронзовыми соснами, хлестали нагайками, били шашками, топтали копытами коней, стараясь оттереть людей к поляне, где удобнее действовать в конном строю.

— Бей пьяную свору! — закричал Фрунзе, выхватывая пистолет.

Дружинники начали ссаживать карателей из седла выстрелами из пистолетов. Но силы были неравные. И Станко, увлекая за собой основную силу астраханцев, дал возможность людям разбежаться по кустам. А Фрунзе тем временем увел в березовую рощу Отца, Дунаева, Самойлова и других руководителей Совета. Но крики раненых, кровь на их лицах, проклятия взывали к отмщению. Комитетчики и дружинники пытались отбить арестованных, но не смогли. И Кожеловский с казаками угнал в тюрьму человек пятьдесят.

Не успели в Совете принять соответствующее решение, как запылали пожары: на ткацкой фабрике Гандурина и на лесном складе Ивана Гарелина. Потом вспыхнули дома фабрикантов Фокина, Бурылина и городского головы Дербенева. Обозленные до крайности, дружинники стреляли в полицию, валили телеграфные и телефонные столбы. Совет осудил поджоги и всякие другие акты диверсии.

На запрещенном собрании в лесу страсти разгорелись до крайности. Горячие головы требовали разнести полицейское управление, арестовать Кожеловского, выжечь дотла все хозяйские «гнезда».

Стихия грозила погубить забастовку: у стачечников не было реальной силы для открытого боя на^{стр.9} улицах.

— Что ж, по-вашему, кланяться этим живодерам? Или простить им такое злодеяние? Бей псов, вот и весь сказ! — горячились многие.

На этом митинге после кровавой резни взял слово Трифоныч. Страстной была речь большевика. Он заклеил позором палачей, но призывал не поддаваться на призывы экстремистов и не губить силы стачечников поддержкой анархистских и эсеровских приемов политической борьбы. И прочитал написанный им «протест на начальника губернии»:

«Совет рабочих депутатов города Иваново-Вознесенска протестует против вашего запрещения сбора рабочих на Талке, — читал Трифоныч. — Вы потворствуете фабрикантам в стачечной борьбе, оказывая им всякую помощь, чтобы сломить решимость рабочих. До сих пор ни одно законное требование не удовлетворено. Рабочие голодают вот уже месяц. Вы расстреляли рабочих на реке Талке, залили ее берега кровью. Но знайте, кровь рабочих, слезы женщин и детей перенесутся на улицы города, и там все будет поставлено на карту борьбы. Мы заявляем, что от своих требований не отступим. Вот воля рабочих города Иваново-Вознесенска. Ждем немедленного ответа по телеграфу. *Совет рабочих депутатов*».

Приняли протест без поправки. И он возымел действие: собрания на Талке были разрешены, из тюрьмы освободили почти всех арестованных.

Значение Совета возросло: с ним считалась теперь не только городская, но и губернская власть. Полицейстера Кожеловского убрали, казаки перестали гарцевать на улицах. Городскую группу Северного комитета РСДРП преобразовали в Иваново-Вознесенский комитет. В него вошел и Трифоныч.

Между тем стачка достигла апогея. Терпение рабочих пошло на убыль, подкрался и вскоре стал угрожать голод. А хозяева не сдавались. Лишь на ситценабивной фабрике Грязнова удалось повысить заработную плату, уволить ненавистных мастеров и добиться заверения, что против бастующих не будут применены санкции. И Совет разрешил рабочим этой фабрики встать к станкам, но с одним условием, что все они будут вносить отчисления от «дачки» в фонд бастующих.

Кончался июнь. Стачка себя исчерпала. Народ бедствовал, как в лихую годину, но продолжал держаться.

27 июня Совет провел последнее многолюдное собрание на Талке. С горечью было решено прекратить забастовку с 1 июля 1905 года. Политическая оценка этого акта выглядела так: «Мы решили стать на работу, с тем чтобы, подкрепив свои силы, вновь начать борьбу за свои права и те требования, которые нами предъявлены фабрикантам в начале забастовки 12 мая 1905 года».

Но еще не угасла надежда у самых стойких. Они держались больше трех недель. И только 23 июля закончилась героическая борьба стачечников.

Репортеры буржуазных газет поспешили заявить, что «после семидесяти двух дней анархии город начал жить обычной жизнью».

Но это было свидетельство верхоглядов. Старая, обычная жизнь умерла. Стало иным отношение к рабочим: насилие и произвол ушли в небытие. Фабриканты из тех, что дальновиднее, прекрасно понимали, что рабочего, прошедшего школу на Талке, в фабричную тюрьму не посадишь, в физиономию ему не дашь и даже не крикнешь на него, как на последнее быдло. Рабочий человек поднял голову, с ним поневоле приходилось считаться.

И Михаил Васильевич Фрунзе убедительно оценил значение этого факта: «Хотя стачка окончилась лишь частичными экономическими уступками со стороны хозяев, но в итоге ее произошло идейное освобождение рабочего класса, и «властительницей дум» в его районе окончательно становится наша партия...»

И Владимир Ильич Ленин, пристально следивший за деятельностью первого Совета, высоко оценил инициативу ивановцев:

«Иваново-Вознесенская стачка показала неожиданно высокую политическую зрелость рабочих. Брожение во всем центральном промышленном районе шло уже непрерывно усиливаясь и расширяясь после этой стачки».

Одним из центров этого брожения стала Шуя и ближайшие к ней рабочие поселки. Туда и предстояло вскоре переселиться Трифонычу.